

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ



ИЗБРАННАЯ
ЛИРИКА



МОСКВА «ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1979



Дугейнъ Водъссески

P2
B64

Художник Ю. Боярский

70803—264

B—————260—79

M101(03)79

© Статья. Состав. Оформление.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.

ОБРАЗ МИРА В ПОЭЗИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Андрей Вознесенский не вошел — ворвался в поэзию, ворвался вместе с шумной, разноголосой толпой молодых людей, которые, непочтительно расталкивая локтями старших по возрасту, сразу, минуя книжные полки, устремились на эстраду. Они искали непосредственного — с глазу на глаз — общения со своими читателями, по большей части такими же молодыми, шумными, нетерпеливыми, жаждущими немедленно получить ответы на все сложные вопросы современности.

Поэма «Мастера», появившаяся в «Литературной газете» как одна из самых первых публикаций поэта, сразу же сделала Вознесенского известным. В этой вещи было столько молодой страсти, поэтической энергии, ритм ее был так стремителен, а живопись броска, неожиданна, что о поэте сразу заговорили, заспорили.

Маленький живописный штрих для иллюстрации:

Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях. . .
Купола горят глазами на распахнутых снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Поэма «Мастера» утверждала идею бессмертия подлинного искусства, утверждала запальчиво — в публицистике и с не меньшей страстью — в драматическом сюжете произведения. Вознесенский выступает в ней как продолжатель далеких по времени, но близких ему по духу традиций искусства дерзкого, новаторского.

Андрей Вознесенский — поэт современный. Современный прежде всего по духу, по острому ощущению нашего быстро-текущего времени, по строю души, по складу мышления. И по характеру выразительности.

Стоит прочесть несколько стихотворений поэта, и вы убедитесь, что они не похожи на то, что вы прежде читали, к чему успели привыкнуть. Метафорическая яркость и спрессованность стиха, напряженный драматизм, обновление словаря, синтаксиса, неожиданность ассоциативных сближений и от-талкиваний — вот что бросается в глаза, когда начинаешь обращать внимание на поэтику Вознесенского. Это в довольно общей форме. А вот строки одного из ранних и очень сложного стихотворения «Гойя»:

Я — голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Я голод.
Я горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
было над площадью голой. . .
Я — Гойя!

Вы, очевидно, обратите внимание на звучание стиха, на повторяющиеся ритмические удары — «ГО». Строки стихотворения насквозь прорифмованы им. Когда прочитываешь все стихотворение, то в этом звучащем, как эхо набата, музыкальном сопровождении начинаешь угадывать трагический смысл стихотворения. Набатно звучат не только ударные «ГО», но и открытые «ОЛО», «ЛО». «Как колокол» — образ зрительный и звуковой. Через звучание мы постигаем смысл: тревожный набат звучит как символ народной беды и народного гнева.

Вознесенский впоследствии рассказал, как возникло это стихотворение. Во время войны, на Урале, где жила его семья в эвакуации, появился дома отец. Он приехал из блокадного Ленинграда и, вместе с банкой консервов, привез небольшую книгу с рисунками и офортами Гойи. Они в воображении мальчика вызвали жуткие видения войны, которая напоминала о себе каждый день. Прошло много лет, вспоминает Вознесенский, позади был Архитектурный институт, занятия живописью и графикой, но и по прошествии многих лет имя «Гойя», как дальнее эхо, напоминало о войне, горе, боли народа. «Музыку горя» хотел передать в этом стихотворении Вознесенский.

Разумеется, не все стихи поэта так сложны для восприятия, как «Гойя». Уже в «заграничном» цикле, который поначалу был назван «40 лирическими отступлениями из поэмы «Треугольная груша», Вознесенский проявил себя аналитиком, предложив читателям как бы социальный разрез современного буржуазного мира. Читайте, например, «Монолог Мерлин Монро». Его образность прозрачна, социальный смысл трагедии популярнейшей звезды американского кинематографа раскрыт ярко.

Да и среди ранних стихотворений Вознесенского есть поряющие своею лирической пронзительностью и светлым

нию высоких идеалов добра и человечности, от лихой, эпатирующей утонченный вкус бравады к тоске по одиночеству и тишине.

Вспомните еще раз «Мастеров», «Прощание с Политехническим», «Монолог Мерлин Монро»! Лозунг, призыв, обличение. . . И такое, например, стихотворение, как «Замерли». Хрупкое, нежное, только возникающее меж двумя людьми чувство и — какой фон! — «На ветру мировых клоунад. . .». Тревога за будущее, желание уберечь, защитить росточек любви — вот что читается в стихотворении «Замерли», вот чем пронизана его эмоциональная атмосфера.

Резчайшим контрастом патетической речи звучит стихотворение «Тишины!»:

Тишины хочу, тишины. . .
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины. . .

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Вознесенский не вступает в конфликт с новой цивилизацией, с научно-технической революцией (прочтите «Диалог обывателя и поэта о НТР»), но он выражает протест против роботизации человека, против превращения его в придаток машины. Крик души слышится в этом: «Тишины хочу, тишины. . .» Человек — по природе своей существо общественное — не может тем не менее обойтись и без одиночества, без тишины. Поэт — тем более: ведь рождение поэтического образа — акт интимный.

Отсутствие доверия и взаимопонимания — вот что разделяет людей в мире, раздираемом жестокими противоречиями. Эту внутреннюю тему многих стихов Вознесенский выносил, побывав на разных континентах и в разных странах, встре-

чаясь с десятками, сотнями людей весьма несхожих политических убеждений, не раз ощутив ледяной холод вражды и тепло дружеского расположения.

Горечь от бессилия поэта сдвинуть берега, сблизить народы, устранить недоверие и вражду аллегорически выражена в стихотворении «Муравей». Случайно приблудившемуся муравью «с того берега» не находится места в муравейниках на этом берегу — «Черный он, и яички беленькие», то есть ничем не отличается от прочих муравьев, но... «с того берега», а это — «как католикам старовер». Высмеивая предрассудки и предубеждения, поэт характеризует нравы «того берега».

Поэт не устает наводить мосты взаимопонимания между «берегами».

Поэзия Вознесенского охватывает жизнь широко, насыщена яркой выразительностью, современна. Несколько предложенных мною разборов, возможно, помогут вам, дорогие читатели, войти в мир его образов, ощутить нервную ритмику его стиха, почувствовать в нем пульсацию жизни. Образ мира в поэзии Андрея Вознесенского драматичен, чреват конфликтами, но господствует в нем гуманное чувство уважения и любви к человеку, вера в его душу и разум.

А л. М и х а й л о в

Н
АЧНИТЕ
СНАЧАЛА



ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданнее брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой, —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина,
это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

СНАЧАЛА!

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолетом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишье
и начал сначала!

Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь, ее пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.

СМЕРТЬ ШУКШИНА

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила страна мужика
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел и протислся.

Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко курил он чинарик,
так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал
край как дом — где березы и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.

* * *

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.

Есть дубликаты —

как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,

две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ. . .»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет. . .»

Но вы не выслушаете совет.

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
Мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

**И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.**

**И качнутся бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не увижу.
Я тебя никогда не забуду».**

ОЗЕРО

Кто ты — непознанный Бог
или природа по Дарвину —
но по сравненью с Тобой,
как я бездарен!

Озера тайный овал
высветлит в утренней просеке
то, что мой предок назвал
кодом нечаянным: «Господи. . .»

Господи, это же ты!
Вижу как будто впервые
озеро красоты
русской периферии.

Господи, это же ты
вместо исповедальни
горбишься у воды
старой скамейкой цимбальной.

Будто впервые к воде
выйду, кустарник отрину,
вместо молитвы Тебе
я расскажу про актрису.

Дом, где родилась она, —
между собором и баром...
Как ты одарена,
как твой сценарий бездарен!

Долго не знал о тебе.
Вдруг в захолустнейшем поезде
ты обернешься в купе:
Господи...

Господи, это же ты...
Помнишь, перевернулись
возле Алма-Аты?
Только сейчас обернулись.

Это впервые со мной,
это впервые,
будто от жизни самой
был на периферии.

Годы. Темноты. Мосты.
И осознать в перерыве:
Господи — это же ты!
Это — впервые.

БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичах.
Все гори синим пламенем кроме —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон. . .

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копья.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звездными своими,
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
проездной бакинец.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернется, может, роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня. . .

А за окнами стоят
талые осины
обнаженно, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба! —
Голая богиня.

ОБМЕН

Не до муз этим летом крошечным.
В доме — смерти, одна за другой.
Занимаюсь квартирообменом,
чтобы съехались мама с сестрой.

Как последняя песня поэта,
едут женщины на грузовой,
две жилицы в посмертное лето —
мать с сестрой.

Мать снимает пушинки от шали,
и пушинки

летят

с пальтеца,
чтоб дорогу по ним отыскали
тени бабушки и отца.

И как эхо их нового адреса,
проводя заплаканный скарб,
вместо выехавшего августа
в наши судьбы въезжает сентябрь.

Не обменивайте квартиры!
Пощади, распорядок земной,
мою малую родину сирую —
мать с сестрой.

Обменяться бы — да поздновато! —
на удел,
как они, без вины виноватых
и без счастья счастливых людей.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

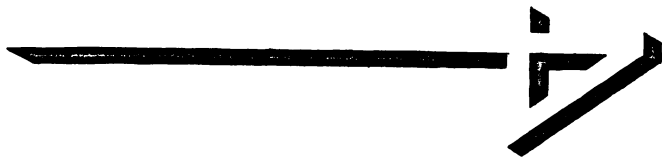
С первого по тринадцатое
нашего января
сами собой набираются
старые номера
сняли иллюминацию
но не зажгли свечей
с первого по тринадцатое
жены не ждут мужей
с первого по тринадцатое
пропасть между времен
вытри рюмашки насухо
выключи телефон
дома как в парикмахерской
много сухой иглы
простыни перетряхиваются
не подмести полы
вместо метро «Вернадского»
кружатся деревья
сценою императорской
кружится Павлова
с первого по тринадцатое
только в России празднуют
эти двенадцать дней
как интервал в ненастиях
через двенадцать лет
вьюгою патриаршею
позамело капот
в новом непотерявшееся

**старое настает
будто репатриация**

**я закопал шампанское
под снегопад в саду
выйду с тобой с опаскою
вдруг его не найду
нас обвенчает наскоро
светлая коронация
с первого по тринадцатое
с первого по тринадцатое.**



РИВИВКА
ШИПОВНИКА



РОМАНС

**Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И — больше ничего.**

**Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...
И — больше ничего.**

ИСПОВЕДЬ

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылез из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спую, не вина:
«Пусть я удобенье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит --
отбой. . .

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло! . .
Отбой. . .

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло! . .
Отбой. . .

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой. . .

А может, это совесть,
потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой. . .

Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.

**А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.**

**Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется, как флажок...**

**Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.**

**Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.**

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще,
Показали дорогу, да путь заказали.

Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною. . .

Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.

Жесты легки.

В вашей гостинице аляповатой

в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!

С Витебска ими раним и любим.

Дикорастущие сорные тюбики

с дьявольски

выдавленным

голубым!

Сирий цветок из породы репейников,

но его синий не знает соперников.

Марка Шагала, загадка Шагала —

рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,

в хохоте нэпа и чебурек.

Во поле хлеба — чуточку неба.

Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —

с чисто готической тягою вверх.

Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские на поля?
Как заплетали венки Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов сверщали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свернутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле прищпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

**Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрочки.**

**Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки. . .**

**Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.**

НА ОЗЕРЕ

Прибегала в мой быт холостой,
задувала свечу, как служанка.
Было бешено хорошо
и задуматься было ужасно!

Я проснусь и промолвлю: «Да здррра-
вствует бодрая температура!»
И на высохших после дождя
громких джинсах — налет перламутра.

Спрыгну в сад и окно притворю,
чтобы бритва тебе не жужжала.
Шнур протянется
в спальню твою.

Дело близилось к сентябрю.
И задуматься было ужасно,

что свобода пуста, как труба,
что любовь — это самодержавье.
Моя шумная жизнь без тебя
не имеет уже содержания.

Ощущение это прошло,
прошуршавши по саду ужами...
Несказуемо хорошо!
А задуматься — было ужасно.

ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЧИЧА

Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться. . .

Н. В. Гоголь. «Завещание»

I

**Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:**

**«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя, —
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.**

**Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.**

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны витии,
поминают, когда мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабить, как звучат слова...

II

«Поднимите мне веки, соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!

Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается,
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.

Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Грешный дух мой бронирован в плоть,
безучастную, как каменя.
Помоги мне подняться, господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать. . .

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

III

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки господние
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Двое выпили на могиле.
Любят похороны, дивясь,
детвора и чиновничий класс,
как вы любите слушать рассказ,
как Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни,

Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.
Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.

Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
горлопаны, не наорались?

Тишины. . .

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

ОТЧЕГО...

Отчего в наклонившихся ивах —
ведь не только же от воды, —
как в волшебных диапозитивах,
света плавающие следы?

Отчего дожидаюсь, поверя —
ведь не только же до звезды, —
посвящаемый в эти деревья,
в это нищее чудо воды?

И за что надо мной, богохульником, —
ведь не только же от любви —
благовещеньем дышат, багульником
золотые наклоны твои?

* * *

**В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!**

**Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом
назначении
девяносто процентов добра.**

**Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,
несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.**

* * *

Суздальская богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати. . .

Невмоготу понимать все.

РАЗГОВОР С ЭПИГРАФОМ

*Александр Сергеевич,
разрешите представиться.*

М а я к о в с к и й

Владимир Владимирович, разрешите представиться!

Я занимаюсь биологией стиха.

Есть роли

более пьедестальные,

но кому-то надо за истопника...

У нас, поэтов, дел по горло,

кто занят садом, кто содокладом.

Другие, как страусы,

прячут головы,

отсюда смотрят и мыслят задом.

Среди идиотств, суеты, наветов

поэт одиозен, порой смешон —

пока не требует поэта

к священной жертве

Стадион!

И когда мы выходим на стадионы в Томске

или на рижские Лужники.

ДИАЛОГ ОБЫВАТЕЛЯ И ПОЭТА О НТР

«Моя бабушка — староверка,
но она —
научно-техническая революционерка.
Кормит гормонами кабана.

Научно-технические коровы
следят за Харламовым и Петровым,
и, прикрываясь ночным покровом,
сексуал-революционерка Сударкина,
в сердце,
 как в трусики-безразмерки,
умещающая пол-Краснодара,
подрывает основы
семьи,
 частной собственности
и государства.

Научно-технические обмены
отменны.

Посылаем Терпсихору —
получаем «Пепсиколу».

«И все-таки это есть Революция —
в умах, в быту и в народах целых.

К двенадцати стрелки часов крадутся —
но мы носим кварцевые, без стрелок!

Я — попутчик

научно-технической революции.

При всем уважении к коромыслам
хочу, чтобы в самой дыре заваливающей
был водопровод

и движенье мысли.

За это я стану на горло песне,
устану —

товарищи подержат за горло.

Но певчее горло

с дыхательным вместе —

живу,

не дыша от счастья и горя.

Скажу, вырываясь из тисков стиха,
тем горлом, которым дышу и пою:

«Да здравствует Научно-техническая,
перерастающая в Духовную!»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами. . .

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

СТАРИННАЯ ПЕСНЯ

Ресторан качается, точно паролод,
а он свою любимую
замуж выдает.

Будем супермены.
Сядем визави.
Разве современно
жениться по любви?

Черная, белая, пьяная метель...
Ресторан закроеся —
двинемся в мотель.

«Ты поправь, любимая,
трефовый парик.
Ты разлей рябиновку
ровно на троих.

Будет все как было.
Проще, может быть.
Будешь вечерами
в гости приходить,

выходя, поглубже
капюшон надвинешь,
может, не разлюбишь,
но возненавидишь?..»

«Сани расписные», —
стонет шансонье.
Вот они отъедут —
расписанные...»

И никто не скажет, вынимая нож:
«Что ж ты, скот, любимую
замуж выдаешь?»

* * *

В. Шкловскому

— Мама, кто там вверху, голенастенький —
руки в стороны — и парит?

— Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

ПЕСНЯ АКЫНА

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, господь, второго —
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не денег, не орденов —
пошли мне, господь, второго,
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружен.
Пошли ему, бог, второго —
такого, как я и он.

ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрецины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура, вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлык,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,

Твое Величество —

Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.

И что-то траурно звучит «ура».

12 скоро. Пора уматывать.

Как ваши лица струятся матово.

В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.

Я вас люблю!

Чему смеетесь? Над чем всплакнете?

И что черкнете, косясь, в блокнотик?

Что с вами, синий свитерок?

В глазах тревожный ветерок. . .

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —

другие.

Мои ботинки черны, как гири.

Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях.

Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,

Политехнический.

Невыносимо нам расставаться.

Я ненавидел тебя вначале.

Как ты расстреливал меня молчаньем!

Я шел как смертник в притихшем зале,
Политехнический, мы враждовали!

Ах, как я сыпался! Как шла на помощь
записка искоркой электрической. . .

Политехнический,
ты это помнишь?

Мы расстаемся, Политехнический.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь

со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.

Политехнический —

моя Россия! —

ты очень бережен и добр, как бог,
лишь Маяковского не уберег. . .

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,

но где б я ни был — в земле, на Ганге, —
ко мне прислушивается

магически

гудящей

раковиною

гиганта

ухо

Политехнического!

КУМИР

Великий хоккеист работает могильщиком.
Ах, водка-матушка,
ищи меня на дне...
Когда он в телевизорах
магичествовал,
убийства прекращались по стране.

Он был капризный принц
Олимпа и Сабены,
а после тридцати
он так застрессовал
наедине с забвеньем —
не дай вам бог перенести!

Он понял что-то
выше травм и грамот.
Над ямой он обтер
бутылку и батон.
Познал бы истину,
когда б работал Гамлет
сначала Йориком, могильщиком — потом.

«Ляжем — сравниемся», —
он говорил девчатам.

«Ляжем — сравниемся», —
он оборвет меня.
Не в голубой конек —
в глубинную лопату
врезается ступня.

Ляжем — сравниемся —
кумиры и селяне,
ляжем — сравниемся —
народы и леса,
в великой темноте в неназванном сиянье
ляжем — сравниемся.

Там побежденному стал победитель равен,
там, бывшие людьми,
безмолвные глядят —
взгляд клена, взгляд звезды и придорожный
камень.

Потом и камня нет.
Остался только взгляд.

Он погружается, дымя сигаркой, в вечность.
Кто не сшибал верхов, тот не познал глубин.
Он погружается
по пояс, грудь, по плечи.
Прямоугольный мрак.
Живой дымок над ним.

ОБСЕРВАТОРИЯ

Мы живем между звездами и пастухами
под стеной телескопа, в лачуге, в саду.

Нам в стекло постучали:

«Погасите окно — нам не видно звезду».

Погасите окно, алых штор дешевизну,

из двух разных светил выбирайте одно.

Чтоб в саду расцвели гефсиманские дикие вишни,
погасите окно.

Мы окно погасили, дали Цезарю цезарево.

Но сквозь тысячи лет — это было давно! —
пробивается свет, что с тобой мы зарезали.

Погасите звезду — мне не видно окно.

МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

КРОМКА

Над пашней сумерки нерезки,
и солнце, уходя за лес,
как бы серебряною рельсой
зажжет у пахоты обрез.

Всего минуту, как, ужая,
продлится тайная краса.
Но каждый вечер приезжаю
глядеть, как гаснет полоса.

Моя любовь передвечерняя,
прощальная моя любовь,
полоска света золотая
под затворенными дверьми.

* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объяснить?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка, я тебя люблю!
Зверюга, я тебя люблю!
Разлука, я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесет и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивесельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдет деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И как ремень с латунной пряжкой
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю.

Над пнем склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несешь мне гибель, почтальонша?
Прохожая, тебя люблю!

Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боев и риска,
Чек, ярлычок на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЕННЫМ ПОЭМАМ

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!

Хороним.

Хороним поэмы. Вход всем посторонним.

Хороним.

На черной Вселенной любовниками

отравленными

лежат две поэмы,

как белый бинокль театральный.

Две жизни прижались судьбой половинной —

две самых поэмы моих

соловьиных!

Вы, люди,

вы, звери,

пруды, где они зарождались

в Останкине, —

встаньте!

Вы, липы ночные,

как лапы в ветвях хиромантии, —

Встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.

Раскройте, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы встаньте —
Сервантес, Борис Леонидович,
Данте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.
И вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте.
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,
встаньте.

Их гибель — судилище. Мы — арестанты.

Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,

встань, мама.

Вы встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих городишках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,

встаньте.

Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.

Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь
потраву, —

Вечная слава!

Вечная слава!

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!
Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад

**разомкнемся немym изваянием —
как раковины не гудят?**

**А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.
Спим.**

* * *

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заносит — спасу нет!

Я думаю, что бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной. . .
Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не сберег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется уже
и все еще — не все. . .

**В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,**

**что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны.**

**Застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ. . .**

**Обязанность стиха
быть органом стыда.**

МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники:
с того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не имею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

РИМСКАЯ РАСПРОДАЖА

Нам аукнутся со звоном
эти несколько минут —
с молотка аукциона
письма Пушкину идут.

Кипарисовый Кипренский...
И капризной мотылька
болдинский набросок женский
ожидает молотка.

Ожидает крика «Продано!»
римская наследница,
а музеи милой родины
не мычат, не телятся.

Неужели не застонешь,
дом далекий и река,
как прижался твой найденыш,
ожидая молотка?

И пока еще по дереву
не ударит молоток,

**он на выручку надеется,
оторвавшийся листок!**

**Боже, лепестки России. . .
Через несколько минут,
как жемчужную рабыню,
ножку Пушкина возьмут.**

ПЕЙЗАЖ С ОЗЕРОМ

В часу от Рима, через времена,
растет пейзаж Сильвестра Щедрина.
В Русском музее копию сравните —
три дерева в свирельном колорите.
(Метр — ширина, да, может, жизнь — длина.)
И что-то ощущалось за обрывом —
наверно, озеро, судя по ивам.

Как разрослись страдания Щедрина!
Им оплодотворенная молитвенно,
на полулокте римская сосна
к скале прижалась, как рука с палитрой.
Машину тормозили семена.
И что-то ощущалось за обрывом —
иное озеро или страна.

Сильвестр Щедрин был итальянский русский,
зарыт подружкой тут же под церквушкой.
Метр — ширина, смерть как и жизнь странна.
Но два его пейзажа — здесь и дома —
стоят как растопырены ладони,

между которых пряльщицы событий
мотают наблюдающие нити —
внимательные времена.

Куплю я нож на кнопке сицилийской,
отрежу дерна с черной сердцевиной,
чтоб, в Подмоскowie пересажена,
росла трава пейзажа Щедрина.
Небесные немедленные силы
не прах, а жизнь его переносили —
жила трава в салоне у окна.

Мы вынужденно сели в Ленинграде.
«В Русский музей успею?» — «Бога ради!»
Вбежал — остолбенел у полотна.
Была в пейзаже Щедрина Сильвестра
дыра. И дуло из дыры отверстой.
Похищенные времена!

* * *

В пору, когда зацветает акация —
желтых измен семена неблагие —
сердце сжимается, как от локации.
Это душевная аллергия.

В пору, когда отцветает провинция
белой пылью под строительной гирей,
я одобряю прораба провиденья,
но у меня на него аллергия.

Речи ли в клубе эрзацные слушаю,
или такую же ересь сермяжную,
или с холма загляжусь на цветущую
наших полей перспективу щемящую,
будто вдыхаю на косогоре
чьему-то ребенку грозящее горе.

Олигофрены цветут на плантациях.
В воздухе носятся мысли такие,
что если бы воздухом этим питаться,
была бы у ангелов аллергия.

В пору, когда отцветает религия,
свадьбы летят — одуванчики Пасхи.

**Религиозная аллергия
с платья трилистничком осыпается. . .**

**Не отцветай, моя тайная Муза!
Так же врасплох, как и в пору Вергилия,
Ты прибегаешь, целебно-дремуча!
Это предчувствует аллергия.**

РИМСКИЕ ПРАЗДНИКИ

*В Риме есть обычай в Новый год
выбрасывать на улицу старые вещи.*

Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.

А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки
из окón,
из окón,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого,
Он гласит: «Долой невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».

Жизнь меняет оперенье,
и летят, как лист в леса,

в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
 без меня. . .

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыпленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет — свистуном?
Или черной, как грачонок,
сбитый атомным огнем?

Мне бы только этим милым
не случилось непогод. . .
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год. . .

. . . Мандарины, дуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами
 сквозь абажуры
светят женские тела.

где маскируются, раздеваясь,
где за 10 коп. ты можешь увидеть будущее —
«От горизонта одного — к горизонту
многих. . .»

«Извиняюсь, вы не видели мою ногу?
Размер 37. . . Обменяли. . .»

«Как же, вот сейчас видала —
в облачках она витала.
Пара крылышков на ей,
как подвязочки!
Только уточняю: номер 38 1/2. . .»

Горизонты растворялись
между небом и водой,
облаками, островами,
между камнем и рукой.

На матрасе — пять подружек,
лицами одна к одной,
как пять пальцев в босоножке
перетянуты тесьмой.

Пляж и полдень — продолжение
той божественной ступни.
Пошевеливает Время
величавою ногой.

Я люблю уйти в сиянье,
где границы никакой.
Море — полусостоянье
между небом и землей,
между водами и сушей,
между многими и мной;

между вымыслом и сущим,
между телом и душой.

Как в насыщенном растворе,
что-то вот произойдет:
суша, растворяясь в море,
переходит в небосвод.

И уже из небосвода
что-то возвращалось к нам
вроде бога и природы
и хождения по водам.

Понятно, бог был невидим.
Только треугольная чайка

замерла в центре неба,
белая и тяжело дышащая, —
как белые плавки бога...

ПИР

Человек явился в лес,
всем принес деликатес:

лягушонку
дал сгущенку,

дал ежу,
что — не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:
«Нет.

Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем,
аллохолом, аспирином.
Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.

Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опыленных ДДТ,
и т. д.

Плюс сидит в печенках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это
убивает в день
сорок тысяч лошадей.
Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты — вредный, скушный:
если хочешь — ты нас скушай».

Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

ОБСТАНОВОЧКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времен борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.
Стол. Кент.
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю Беломор Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя тeneвая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
все, чего нет
(след. перечисление ед).
Тень бабушки — салфетка узорная,
вышивала, страданица, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рёниш».
Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(Бьет.) Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
Предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя тeneвая спальня.
Ой, как развалено. . .
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
+ 14 созданий
с площади Испании.
Уголок забытых вещей!
№ 2-й,
№ 3-й,
№ 8-й — никто не признается чей!

А вот женина брошка.
И платье брошено...
наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, черен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности Гость,
к несчастью, принимал за трость.)

Вот ванная.
Что-то странное!
Свет под дверь. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.
Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается неузнаваем.)
О нет, только не это!..
Ломаем!
Она ведь вчера говорила —
«Если не придешь домой...»
Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..
Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины,
Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

ПОРНОГРАФИЯ ДУХА

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории,
в искусстве силен как стряпуха,
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему все не ясно,
Стравинский — безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших ее.
Когда мой собрат на панели,
стыжусь за него самое.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах
свою порнографию духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим — это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,
венерам закутайте брюхо.
Но все-таки дух — это главное.
Долой порнографию духа!



СТАВЬ
ЧЕЛОВЕКА,
НЕЧИСТАЯ
СИЛА...

АВТОЛИТОГРАФИЯ

На обратной стороне Земли,
как предполагают в год Змеи,
в частной типографии в Лонг Айленде,
у хозяйки домика и рифа
я печатал автолитографии,
за станком, с семи и до семи.
После нанесения изошрифта
два немногословные Сизифа —
Вечности джинсовые связисты —
уносили трехпудовый камень.
Амен.

Прилетал я каждую субботу.
В итальянском литографском камне
я врезал шрифтом наоборотным
«Аз» и «Твердь», как принято веками,
верность контролируя в зеркало.
«Тьма-тьма-тьма» — врезал я по овалу,
«тьматьматьма» — пока не проступало:
«мать-мать-мать». Жизнь обретала речь.
После оттиска оригинала
(чтобы уникальность уберечь)
два Сизифа, следуя тарифу,
разбивали литографский камень.
Амен.

Что же отпечаталось в сознание?
Память пальцев, и тоска другая,
будто внял я неба содроганье
или горних ангелов полет,
будто перестал быть чужестранен.
Мне открылось, как страна живет —
мать кормила, руль не выпуская,
тайная Америки святая,
и не всякий песнь ее поймет.
Черные грузили лед и пламень.
У обоих океанских вод
шкурку мыси мой сушил народ,
США к утру сушили плавки,
а Иешуа бензоаправки
на дороге разводил руками,
и конквистадор иного свойства,
Петр Великий иль тоскливый Каин,
в километре над Петрозаводском
выбирал столицу с метафизикой.
Я люблю Америку Созданья,
где снимают в Хьюстоне Сизифы
с сердца человеческого камень.
Амен.

Не понять Америку с визитом
праздным рифмолетом назиданья,
лишь поймет сообщник созиданья,
с кем преломят бутерброд с вязигой.
Вечности усталые Сизифы,
когда в руки вьелся общий камень.
Амен.

Ни одно- и ни многоэтажным
я туристом не был. А работал.

Боб Раушенберг, отец поп-арта,
на плечах с живой лисой захаживал,
утопая в алом зоопарке.
Я работал. Солнце заходило.
Я мешал оранжевый в белила.
Автолитографии теплели.
Как же совершилось преступленье?
Уничтожен камень, к сожаленью.
Утром, нумеруя отпечаток,
я заметил в нем — как крыл зачаток,
оттиск смеха, профиль мотыльковый,
лоб и нос, похожие на мамин.
Может, воздух так сложила в складки:
Или мысль блуждающая чья-то?
Или дикий ангел бестолковый
зазевался — и попал под камень...
Амен.

Что же отпечаталось в хозяйке?
Тень укора, бегство из Испании,
Тайная улыбка испытаний,
водяная, как узор госзнака.
Что же отпечаталось во мне?
Честолюбье стать вторым Гонзаго?
Что же отпечаталось извне?
Что же отпечатается в памяти
матери моей на Юго-Западе?
Что же отпечатает прибор?
Ритм веков и порванный «Плейбой»?
Что запомнят сизые Сизифы,
покидая возраст допризывный?
Что заговорит в Раушенберге?
«Вещь для хора и ракушек пеня»?
Что же в океане отпечаталось?

Я не знаю. Это знает атлас.
Что-то сохраняется на дне —
связь времен, первопечаль какая-то...
Все, что помню — как вы угадаете, —
только типографийку в Лонг Айленде,
риф, и исчезающий за ним
ангел повторяет профиль мамин.
И с души отваливает камень.
Амен.

МАТЬ

Охрани, Провидение, своим махом шагреневым, обогни ее
хижину —
мою мать — Вознесенскую Антонину Сергеевну, урожденную
Пастушихину.

Воробьишко серебряно пусть в окно постучится:
«Добрый день, Антонина Сергеевна, урожденная
Пастушихина!»

Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от Времени.
Ее беды помиловали, да не все, к сожалению.

За житейские стыни, две войны и пустые деревни
родила она сына и дочку, Наталью Андреевну.

И, зайдя за калитку, в небесах над речушкой
подарила им нитку — уток нитку жемчужную.

Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки
коммунальные ссоры утишали своей беззащитностью.

Любит Блока и Сирина, режет рюмкой пельмени.
Есть другие России. Но мне эта милее.

Что наивно просила, насмотревшись по телику:
«Чтоб тебя не убили, сын, не ездь в Америку. . .»

Назовите по имени веру женскую, независимую
пустынницу —
Антонину Сергеевну Вознесенскую, урожденную
Пастушихину.

МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.

Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?

Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.

Ее глядели автомобили.

На стометровом киноэкране
в библейском небе,

меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили...

в метро,
в троллейбусе,
в магазине.
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,
невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
 что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
лицо измято,
 глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой
 самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
 ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
 самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо все ждать,
 чтоб грянуло,
а главное —

**необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!**

невыносимо

**горят на синем
твои прощальные апельсины. . .**

**Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!**

АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин,
в кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
над ним горят

Антимиры!

И в них магический, как демон,
вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
виденья цвета промокашки.
Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
есть антимужчины,
в лесах режут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

**Я сплю, ворочаюсь спросонок,
наверно, прав научный хмырь.**

**Мой кот, как радиоприемник,
зеленым глазом ловит мир.**

МОНОЛОГ БИТНИКА

Лежу бухой и эпохальный.

Постигаю Мичиган.

Как в губке время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом как берлога,

лежат озябшие зрачки.

Перебираю как брелоки
Прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,

дождями атомными рея,

плевало время на меня, плюю на время!

Политика? К чему валандаться!

Цивилизация душна.

Вхожу, как в воду с аквалангом,

в тебя, зеленая душа.

Мы — битники. Среди хулы

мы — как звереныши, волчата.

Скандалы точно кандалы

за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,
с опухшим носом скомороха,
вы думали — я шут?
Я — суд!
Я — Страшный суд. Молись, эпоха!

БЬЕТ ЖЕНЩИНА

В чьем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,

обуть,

быть умной,

хохотать, —

такая мука — непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.

Мужчины, рыцари,

куда ж девались вы?!

Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь.

Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!

А можно ли

в капронах

ждать в морозы?

Самой Восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны,

люди,

лунные аллеи,

вы без нее давно бы околели!

Смотрите,

из-под грязного стола —

она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами

прислоняюсь,

и по тебе

сползаю

тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —

меня бы кто хотя бы отлупил! . . .»

СЕНТЯБРЬ

Твоя «Волга» черная гонит фары дальние
в рощу золоченого разочарования.

Воли лазер чертовый, материнство раннее
мчится в золоченое разочарование!

Посулили золото — дали самоварное.
И зарей подчеркнута разочарование,

над равниной черною и над тучей рваною
плачет золоченое разочарование!

В роще пыль алмазная, как над водопадом.
Прсят притормаживать в пору листопада.

Не гони, шоферочная! Берегись аварии
в это золоченое разочарование.

НА ПЛОТАХ

Нас несет Енисей.

Как плоты над огромной
и черной водой.

Я — ничей!

Я — не твой, я — не твой, я — не твой!

Ненавижу провал

твоих губ, твои волосы,
платье, жилье.

Я плевал

на святое и лживое имя твое!

Ненавижу за ложь

телеграмм и открыток твоих,
ненавижу твой шелк,
проливные нейлоны гардин,
мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня

телефон-автоматной Москвы,
я страшон, как икона,
почернел и опух от мошки.

Блещет, точно сазан,

голубая щека рыбака,

«Нет» — слезам.

«Да» — мужским, продубленным рукам.

«Да» — девчатам разбойным,

купающим МАЗ, как коня.

«Да» — брандспойтам,

сбивающим горе с меня.

СИБИРСКИЕ БАНИ

Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару —
Ну и ну!
Слабовато Ренуару
до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,
эти спины наповал,
будто доменной печью
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
здесь «на ты», «на ты», «на ты»
чистота огня и снега
с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня, —
в полушубках, кровь с огнем,
как их шуткой
шуганем!

Ой, испугу!
Ой, в избушку,
как из пушки, во весь дух:
— Ух! . .

А одна в дверях задержится,
за приступочку подержится
и в соседа со смешком
кинет
 кругленьким снежком!

ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при всегда,

прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи всё свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,

**а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.**

**Зеленые в ночах
такси без седока.
Залетные на час,
останьтесь навсегда.**

ОСЕНЬ

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
Последних паутинок блеск,
Последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
Стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живет
И мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
К тужурке припадет щекою.

Она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
Поймет осенний зов полей,
Полет семян, распад семей. . .

Озябшая и молодая,
Она подумает о том,
Что яблонька и та — с плодами,
Буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
В полях, домах, в лесах продутых,
Им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
И на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
Я сам не знаю, что к чему. . .

А за окошком в юном инее
Лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
До железнодорожной линии,
Сужаясь, тянутся следы.

ШКОЛЬНИК

Пастернак тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием профиль
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира —
повезло тебе, крестник! —
обломившись, со сцены вцепилась
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало
от такого события!
Ты кусок неразгаданной стали
взял губами, забывшись,

«Как люблю вас, Борис Леонидович! —
думал ты, — повезло мне родиться.
Моя жизнь передачей больничною,
может, вам пригодится. . .»

Задержись, мое детство согбенное.
Детство. Самозабвенье.
И пророческая рапира.
И такая Россия! . .

Через год пролетел он над нами
в белом гробе на фоне небес,
будто в лодке — откинутый навзничь,
взявший весла на грудь — гребец.

Это было не погребенье.
Была воля небесная скул.
Был над родиной выдох гребельный. —
Он по ней слишком сильно вздохнул.

РОССИЙСКИЕ СЕЛФ-МЕЙД-МЕНЫ*

Пробегаю по камням,
и летает по пятам
поэт в первом поколеньи —
мой любимый адъютант.

Честность в первом поколеньи,
за душою ни рубля.
Самородки, селф-мейд-мены
сами делают себя.

Их шлифуют педсистемы,
благолепие любя.
Поколенья селф-мейд-менов
сами делают себя.

Есть у Музы подвиг страдный,
и посты монастыря,
и преступная эстрада —
как гуляющая сестра!

Совесьть в первом поколеньи
и опасная судьба —

* С е л ф - м е й д - м е н (амер.) — человек, сам себя сотворивший.

разоря озареньем,
рождать заново себя.

Как обкуренную трубку,
не ревнуя, не скорбя,
джинсы, сшитые из Врубеля,
подарю после себя.

Волю в первом поколенье,
на швах вытертый талант,
но не стертый на коленях.
Будь мужчиной, адъютант!

Не ослушайся приказа:
тело может сбить с лыжни.
Уходя, как ключ, два раза
во мне ножик поверни.

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно,
гориллой
краснозадою
взвивается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иглочка от циркуля
из горсточки золы...

... Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено!

Все — начато!

Айда в кино!

ТБИЛИССКИЕ БАЗАРЫ

*... Носы на солнце лупятся,
как живопись на фресках.*

Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны форели,
Цветастая грубость!

Здесь праздники в будни.
Арбы и арбузы.
Торговки — как бубны,
В браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!

Да здравствуют бабы,
Торговки салатом,
Под стать баобабам
В четыре обхвата!

Базары — пожары.
Здесь огненно, молодо

**Пылают загаром
Не руки, а золото.
В них отблески масел
И вин золотых.**

**Да здравствует мастер,
Что выпишет их!**

ГОЙЯ

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал враг,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
было над площадью голой. . .

Я — Гойя!

О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
как гвозди.

Я — Гойя.

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
 так уж положено,
из стен,
 матерей
 и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь, прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,
друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я уйду из вас,

о родина, прощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка.
Спасибо жизнь, что была.

На стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
входило прозренье, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак.

«Андрей Вознесенский» — будет,
побить бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,
спасибо, что в рощах осенних

ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басыла
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...

из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?

Ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,
я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,
спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

М АСТЕРА

ПОЭМА



ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Колокола, гудошники...
Звон, звон...

Вам,
художники
всех времен!
Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниєю заживо
испепелял талант.

Ваш молот не колонны
и статуи тесал —
сбивал со лбов короны
и троны сотрясал.

Художник первородный —
всегда трибун.
В нем дух переворота
и вечно — бунт.

Вас в стены муровали,
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
плясали на костях.

Искусство воскресало
из казней и из пыток
и било, как кресало,
о камни Моабитов.

Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И музу, точно Зою,
вели на эшафот.

Но нет противоядия
ее святым словам —
воители,
ваятели,
слава вам!

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Москва бурлит, как варево,
Под колокольный звон. . .

Вам,
варвары
всех времен!

Цари, тираны,
в тиарах яйцевидных,
в пожарищах-сутанах
и с жерлами цилиндров!

Империи и кассы
страхуя от огня,
вы видели в Пегасе
троянского коня.

Ваш враг — резец и кельма.
И выжженные очи,
как клейма,
горели среди ночи.

Вас мое слово судит.
Да будет — срам,
да
будет
проклятье вам!

I

Жил-был царь,
У царя был двор.
На дворе был кол,
На колу не мочало —
человека мотало!

Хвор царь, хром царь,
а у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мощна,
да рука мощна!

Он деревни мутит.
Он царевне свистит.
И ударил жезлом
и велел государь,
чтоб на площади главной
из цветных терракот
храм стоял семиглавый —
семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил,
Чтоб народ страшил.

II

**Их было смелых — семеро,
их было сильных — семеро,**

**наверно, с моря синего
или откуда с севера,**

**где Ладога, луга,
где радуга-дуга.**

**Они ложили кладку
вдоль белых берегов,
чтоб взвились, точно радуга,
семь разных городов.**

**Как флаги корабельные,
как песни корабейные.**

**Один — червонный, башенный,
разбойный, бесшабашный.
Другой — чтобы, как девица,
был белогруд, высок.**

**А третий — точно деревце,
зеленый городок!
Узорные, кирпичные,
цветите по холмам. . .
Их привели опричники,
чтобы построить храм.**

III

Кудри — стружки,
руки — на рубанки,
Яростные, русские,
красные рубахи.

Очи — ой, отчаянны!
При подобной силе —
как бы вы нечаянно
царство не спалили! . .

Бросьте, дети бисовы,
кельмы и резцы.
Не мечите бисером
изразцы.

IV

Не памяти юродивой
вы возводили храм,
а богу плодородия,
его земным дарам.

Здесь купола — кокосы,
и тыквы — купола.
И бирюза кокошников
окошки оплела.

Сквозь кожуру мишурную
глядело с завитков,
что чудилось Мичурину
шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,
их буйные листы,
кочевников колчаны
и кочетов хвосты.

**И башенки буравами
взвивались по бокам,
и купола булавами
грозили облакам!**

**И москвичи молились
столь дерзкому труду —
арбузу и маису
в чудовищном саду.**

V

Взглянув на главы-шлемы,
боярин рек:

— У, шельмы,
в бараний рог! —
Сплошные перламутры —
сойдешь с ума.
Уж больно баламутны
их сурик и сурьма. . .

Купец галантный,
куль голландский,
шипел: — Ишь надругательство,
хула и украшательство.

Нашел уж царь работников —
смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
а кистени.
Семь городов, антихристы,
задумали они.
Им наша жизнь — кабальная,
им Русь — не мать!

. . . А младший у кабатчика
все похвалялся, тать,

как в ночь перед заутреней,
охальник и бахвал,
царевне
целомудренной
он груди целовал. . .

И дьяки присные,
как крысы по углам,
в ладони прыснули:
— Не храм, а срам! . .

. . . А храм пылал в полнеба,
как лозунг к мятежам,
как пламя гнева
крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
в сундук купчина прятался.
А немец, как козел,
скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол,
храм антихристовый! . .

А мужик стоял да подвистывал,
все посвистывал, да поглядывал,
да топор
рукой все поглаживал. . .

VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня -- пей, гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях...
Купола горят глазуньями на распахнутых снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где яркие яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной Руси —
эх, еси —
только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов.
Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов.
Го-ро-дов?
Может, лучше — для гробов?..

VII

Тюремные стены,
И нем рассвет.
А где поэма?
Поэмы — нет.

Была в семь глав она —
как храм в семь глав.
А нынче безгласна —
как лик без глаз.
Она у плахи.
Стоит в ночи.

.

И руки о рубахи
отерли палачи.

я,
Вознесенский,
воздвигну их!
Я — парень с Калужской,
я явно не промах.
В фуфайке колючей,
с хрустящим дипломом.
Я той же артели,
что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
двадцать веков!
Я тысячерукий —
руками вашими,
я тысячеокий —
очами вашими.
Я осуществляю в стекле и металле,
о чем вы мечтали,
о чем — не мечтали...
Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракетой
стоступенчатой
взвивались
в мирозданье!

И завтра ночью тряскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!..
...А вслед мне из ночи
окон и бойниц
установились очи
безглазых глазниц.

СОДЕРЖАНИЕ

Ал. Михайлов. Образ мира в поэзии Вознесенского . 5

НАЧНИТЕ СНАЧАЛА

Заповедь	13
Сначала!	15
Смерть Шукшина	17
«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...»	18
Сага	20
Озеро	22
Беловежская баллада	24
Звезда	26
Обмен	28
Старый Новый год	29

ПРИВИВКА ШИПОВНИКА

Романс	33
Исповедь	34
Автомат	35
Тоска	37
Не пишется	38
Васильки Шагала	40
На озере	43
Похороны Гоголя Николая Васильича	44
Тишины!	48
Отчего...	50
«В человеческом организме...»	51
«Суздальская богоматерь...»	52
Разговор с эпитафией	53
Диалог обывателя и поэта о НТР	55
Правила поведения за столом	57
Старинная песня	58
«Мама, кто там вверху, голенастенький...»	60
Песня акына	61
Прощание с Политехническим	62
Кумир	65
Обсерватория	67
Молитва	68

Кромка	69
«Слоняюсь под Новосибирском...»	70
Плач по двум нерожденным поэмам	72
Замерли	76
«Нам, как аппендицит...»	78
Муравей	81
Римская распродажа	82
Пейзаж с озером	84
«В пору, когда зацветает акация...»	86
Римские праздники	88
Общий пляж № 2	91
Пир	94
Обстановочка	96
Порнография духа	99

ОСТАВЬ ЧЕЛОВЕКА, НЕЧИСТАЯ СИЛА...

Нечистая сила	103
Автолитография	104
Мать	108
Монолог Мерлин Монро	109
Антимиры	113
Монолог битника	116
Бьет женщина	118
Сентябрь	120
На плотях	121
Сибирские бани	123
Вальс при свечах	125
Осень	127
Школьник	129
Российские селф-мейд-мены	131
Пожар в Архитектурном институте	133
Тбилисские базары	135
Гойя	137
Осень в Сигулде	138
МАСТЕРА (Поэма)	141

Для старшего возраста

*Андрей Андреевич
Вознесенский*

ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА

ИБ № 2316

Ответственный редактор *С. Н. Боярская*. Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*. Технический редактор *Л. В. Гришина*. Корректоры *В. В. Кудинова* и *Э. Л. Лофенфельд*. Сдано в набор 18.01.79. Подписано к печати 17.07.79. А06982. Формат 70×100^{1/32}. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Уч.-изд. л. 4,3. Тираж 100 000 экз. Заказ № 678. Цена 40 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного Комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 2-я Советская, 7.

Вознесенский А. А.

В 64 Избранная лирика. Худож. Ю. Боярский. — М.: Дет. лит., 1979. 159 с., ил.

В пер.: 40 коп.

Избранные стихотворения и поэма известного советского поэта.

70803—264

В—————260—79

М101(03)79

Р2

AB

40 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»